

## 1.

*На свете счастья нет,  
но есть покой и воля...*

Александр Пушкин

Мудрецы всех времен и народов, от античных софистов до либеральных экономистов, от жрецов синедриона до членов парламента, от собеседников Сократа до сотрудников Роскомстата, будучи озабочены общим благом, первостепенную задачу государственного устройства представляли как оптимизацию жизненного пространства. Все хорошо там, где хорошо всем. Жаль, что пока нигде так не получается...

Чтобы судить о том, насколько справедливо обустроено общество, надо прежде ответить на основной вопрос: каковы необходимые и достаточные условия хорошей жизни на данном уровне развития социума? Проще говоря, – сколько человеку надо, чтобы ему хватило? Увы, этого никто с полной определенностью сказать не может. Дело не только в том, что находится у гражданина в потребительской корзине, важно еще, что творится у него в беспокойном сердце. Иначе говоря, – чем жив человек?

В нравственной философии риторический вопрос о смысле жизни переводится в разряд sacramентальных: ответа на него не имеется, но смысл в нем подразумевается. В неблагоприятных обстоятельствах человек, павший духом, мучительно сомневается в своей целесообразности. И задумывается о коренных вопросах человеческого существования, в повседневности занимающих исчезающе малое место, – но никогда не исчезающих с горизонта сознания. Когда дело жизни оказывается под угрозой духовного банкротства, оказывается, что для человека важны не те насущные вещи, которыми забита голова, а совсем другие – сущие. Те, до которых в суете мысли не доходили.

В порядке самоанализа усомнившийся в себе человек проводит ревизию ценностей. Познание себя обескураживает и обнадеживает: внутренний мир, освобожденный от иллюзий, беднее и богаче одновременно. Если человеку хватит воли взять на себя ответственность за то, что в нем происходит, жизнь его меняется в принципе, – хотя обстоятельства места и времени остаются прежними. Многие тревоги, составляющие злобу дня, оказываются сущей ерундой. Когда проясняется сумеречное сознание,

круг житейских забот сужается до прожиточного минимума. Однако жизнь от этого хуже не становится, – скорее, наоборот. С отказом разума от мнимостей, реальность получает больше значения.

В сознании, освобожденном от лишнего, возникает место для иного. Оно, как правило, остается вакантным: чуда не происходит. Однако возможность иного расширяет понимание сущего. Время, четвертое измерение мира, открывается внутрь. Кажется, что то, чего ожидаешь всю жизнь, не зная, что именно ждешь, вот-вот случится: сплошная видимость разорвется сверху донизу, как завеса в храме, и должное выйдет из данного, как свет из тьмы, наполнив разум смыслом, а душу покоем.

По авторскому разумению, жанр этого неровного текста определяется подзаголовком, снимающим претензии на законченность и значительность рассуждений: *философические фрагменты*. Софизмы, собранные в формат эссе, не укладываются в логическую последовательность, направленную к конечному умозаключению. Есть вещи, которые высказать невозможно... и невозможно обойти молчанием. Исходное положение философии, ее метафизическое основание, обусловлено этой двойной невозможностью.

Мышление о смысле жизни бесцельно, – но не безнадежно. Усилие познать то, что не поддается познанию, это и есть метафизика. Для тех, у кого в душе нет тяги за горизонт опыта, в отвлеченном мышлении нет никакого проку, – поскольку значение речи о том, что не подвержено изречению, всегда проблематично. Это рассуждение не исключение. Но ведь кто-то сейчас его читает! Кому-то оно надо! Мне хочется, чтобы читатель увидел в себе то, что имел в виду сочинитель, и задумался о том, до чего никто не додумался.

В идейном хаосе, который определяет характер современности, практически не осталось места для отвлеченных размышлений. Информационные системы так перестроили массовое сознание, что большая часть нашего невеликого ума занята проблемами, которые создаются и решаются без нашего участия. И без осознан-

ного сопротивления негативным тенденциям. Картину мира в массовое сознание транслирует телевидение, рассчитанное на умственно отсталых и нищих духом. Телевещание в его нынешнем формате – шизофренический дискурс в наглядном виде. Новостные программы вгоняют обывателя в депрессию; общее впечатление от повседневной жизни человечества просто удручающее. Если исходить из нравственных принципов классической этики, человек как таковой почти расчеловечился... В чем нас убеждает телевидение.

Однако в том же формате вещания рекламные ролики, воздействуя на сознание как визуальные транквилизаторы, создают внутри зоны информационного кошмара виртуальное потребительское пространство, где затуманенному взору представляется наваждение счастливой жизни. Вход в мир удовольствий открыт всем и каждому... за соответствующую плату. Так что рядовым гражданам, всецело вовлеченным в процесс материального обеспечения собственного существования, думать о судьбах мира решительно недосуг. Все, чего хотят самодельные люди – отгородившись от государственных проблем, обустроить частное счастье.

В истории идей стремление к счастью выделилось в отдельное направление мысли, прописанное в философском словаре как *эвдемония* (греч. eudaimonia – блаженство). Аристотель, от которого, собственно, и пошло это учение, полагал счастье высшим благом, составляющим конечный смысл человеческого существования. Достижение наилучшего состояния философ считал возможным только на основе личного достоинства, – и потому возможное блаженство априори связывал с нравственным совершенством. Апория Аристотеля на чуткий слух звучит пародийно, – как ария Мэри Поппинс в известном фильме: *Ах, какое блаженство // Знать, что ты совершенство...* Но спорить с ним трудно. Поскольку совершенства никто не достиг, подтвердить или опровергнуть его теорию никому не удалось.

Вырожденная форма эвдемонии – гедонизм: человек, лишенный, шестого (метафизического) чувства, сводит все впечатленья бытия

к чувственным наслаждениям. Идеология потребительского общества базируется на гедонизме. Как всякая идеология, консьюмеризм лжет. Жизнь по кайфу – забвение себя. То есть перманентная утрата. В процессе такой жизни тщета, а в итоге пустота.

Поэт Осип Мандельштам в тяжелые моменты жизни задавался риторическим вопросом, поставленным поперек привычного хода мысли: а кто сказал, что мы должны быть счастливыми? Наверное, чтобы утвердить человеческое предназначение в рамках разумной действительности, следует исходить из других предпосылок, – метафизических. Может быть, смысл нашего существования в том, чтобы жизнь совпала с судьбой. Если же генеральной линией жизни становится стремление к счастью, скорбный разум, одержимый навязчивой идеей, становится слепым поводырем. В поисках того, чего нет, целеустремленный человек проходит мимо того, что есть.

Есть мир, есть век – то, что в той или иной мере дано всем и каждому. А счастье... кто его видел? в ком мы его видели? В романе Грэма Грина «Суть дела» один персонаж, склонный к эмпириокритицизму, возражает другому, склоняющему его к эвдемонизму: *Покажите мне счастливого человека, и я покажу вам либо самовлюбленность, эгоизм и злобу, либо полнейшую духовную слепоту.* И тот не находит вокруг себя примера, чтобы доказать моральную состоятельность своей теории. Чтобы стать иным, надо быть святым.

Однако отсутствие святости недостаточное основание для того, чтобы падшее человечество отказалось от попыток вернуться в потерянный рай душевного благоденствия – хотя бы с черного хода. Есть моралисты, которые возможность счастья пытаются доказать от обратного. Философ Паскаль Брюкнер в трактате «Вечная эйфория» утверждает вот что: *Несчастье – это не просто беда, а гораздо хуже – неудавшееся счастье.* Что выходит из такого оборота мысли? Ерунда какая-то выходит! Как будто если несчастье посчитать неудачей, житейское горе можно свести к пустой досаде...

Кто пережил свои сомненья, тот знает, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на

поиски того, чего нет. Как эту грустную истину выразил Пушкин, – *Летят за днями дни, и каждый час уносит // Частицу бытия...* Унесенные ветром времени, частицы бытия оседают незримым прахом по контурам пустоты, остающейся там, где только что были мы, а сейчас нас там уже нет, и впредь не будет. Кто потратил жизнь на то, чтобы хорошо в ней устроиться, осознает с тоской: получив то, что хотел, он не достиг того, о чем мечтал. Не в этом счастье. А в чем? Бог весть; а нам – темна вода в облаках...

Фактическая сторона вопроса проясняется, если развести *блаженствование* и *долженствование* по разным категориям. Блаженство – идеальное *состояние* души, а существование – деятельное *становление* сущности. Очевидно, что на всех стадиях жизненного процесса ни одно душевное состояние не является устойчивым и постоянным. Исходя из этого постулата, легко сделать умозаключение: радость жизни время от времени доступна по жизни каждому, но блаженство – состояние, несовместимое с жизнью. Кого не убеждает голая логика, пусть почитает жития святых.

Об условиях пребывания спасенной души в небесных пажитях надежных сведений нет, но земное блаженство, как следует из логики и прагматики, в нашей действительности недостижимо. Но стремление к счастью так же свойственно душе, как течение воды реке. Хотя трезвый взгляд на вещи не обнаруживает необходимых и достаточных оснований для нисхождения благодати на индивида, пребывающего в здравом уме и твердой памяти. *Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью,* – в минуту душевной тревоги пишет Пушкин в эпистолярной прозе. И в ту же тему в поэтическом жанре: *На свете счастья нет, но есть покой и воля...* Это так. Но не просто так. Эта пушкинская строка не столько афористична, сколько парадоксальна. В ее дидактике скрыта такая диалектика, что в попытках применить ее к действительности можно надорваться сердцем и повредиться умом.

Парадокс таится в семантике. В русском языке воля имеет два значения: 1) *вольность*, сущ-

ность свободы как таковой; 2) *воление*, то есть целенаправленное стремление. Так как же следует понимать данное наставление? Во всяком случае, не однозначно. Филолог Юрий Лотман основным свойством подлинной поэзии называл *мерцание смысла*. В пушкинской фразе ускользающий смысл пульсирует между самоутверждением и самоотрицанием. Вчитаемся – и вдумаемся.

Что происходит в сознании, в котором воцаряются покой и воля? Как живет беглецу от действительности, если бегство удалось? Увы, не так, как мечталось. То, что поэт, уставший от суеты, назвал *завидной долей*, с течением дней осознается *жалкой участью*. Состояние покоя постепенно опустошает сознание. Существование без напряжения становится формой без содержания. Бесцельная воля бессмысленна, обездвиженная жизнь безнадежна; бездельная свобода истощает жизненный ресурс на подавление желаний.

Чтобы выволить томящуюся душу из экзистенциальной пустоты, теряющий разум ищет выход, к которому устремляется всеми помыслами. Стремление к цели выводит человека из состояния покоя – и жизнь, со всеми ее тревожностями, заполняет его сознание теми же проблемами, от которых он с таким трудом освободился. Душа, не нашедшая успокоения и отказавшаяся от своеволия, исполняется надеждами – и устремляется к счастью, которого нет.

Так и живем. Хорошо, что так. Хорошо, что живем.

Так и живем – здесь и сейчас. Но иногда, утомленные стремлением мыслить впредь, мы начинаем раздумывать вспять, вглядываясь в умозрительную пустоту, оставшуюся от былого времени, – и там, по контурам утраченных иллюзий, внутренним взором различаем таинственное мерцание... остаточное излучение счастья, которое могло бы случиться, если бы мы в свое время по своей воле не предпочли покой.

*Пора, мой друг, пора!  
покою сердце просит...*

Александр Пушкин

Кому хорошо живется, тому лучше не задумываться о том, как он живет. А то ведь, прискучив незаметным счастьем, хороший человек начнет искать лучшей доли... и тогда, не меняясь по сути, то, что хорошо, станет хуже. Моралист Ларошфуко утверждал, что наше относительное благополучие суть мнимое состояние; оно обусловлено не столько обстоятельствами, сколько отношением к ним: *Человек никогда не бывает так несчастлив, как ему кажется, или так счастлив, как ему хочется*. Один из умнейших людей своего времени, после многих житейских разочарований Ларошфуко стал меланхоликом и мизантропом. А коли так, велика ли цена нашей мудрости, если мы не можем за счет благоразумия обеспечить благоденствие? И как надо жить, чтобы в итоге жизни от благих намерений не остались пустые сожаления? Бог весть...

Я долго искал философское определение, способное вместить осознание оптимального отношения разумного существа к условиям своего существования. Я хотел корректно сформулировать жизненный принцип, в котором сердечная радость благой вести нераздельно и неслиянно сосуществует с горькой мудростью античной стойкости. Чтобы придать своему суждению ученое приличие, я свел его к термину: *экзистенциальный минимализм*. Убедившись, что в интернете это словосочетание в качестве фиксированной дефиниции не представлено, я скромно возгордился. Мне показалось, что в науке о человеке доселе не доставало понятия *витальной цельности*, вытекающего из предложенного принципа. Не хватало философского определения для сосредоточенного существования, от природы свойственного живому организму, но исчезающего в логическом самоанализе критического разума. В нашем сумеречном сознании витальная цельность, то есть предустановленная гармония стимулов и резонансов, грезится на горизонте жизненного круга как умозрительная иллюзия потерянного рая.

Но, как известно каждому, кто с тем или иным успехом занимается умственной деятельностью, нет ничего легче для ума, чем обмануться в реальной ценности надуманного. Подумавав хорошенько, я обнулil претензии. Ничто в мире не ново, – особенно то, что претендует быть новостью. Стоический скептицизм глубоко укоренен в истории. Особенно в отечественной. Житейский опыт русского народа, судьбой не избалованного, отлился в одну идиому: *лучше меньше, да лучше*. Собственно говоря, это и есть принцип экзистенциального минимализма, отработанный до непреложного правила. Непротиворечивое самоопределение, то есть достижение тождества с самим собой, возможно только за счет сознательного самоограничения.

В чем целесообразность экзистенциального минимализма? По моему убеждению, сложившемуся как вывод из житейского опыта, это самый оптимальный метод жить в мире. По поводу того, в чем смысл жизни, мнения живущих сильно расходятся. Но в разнообразии экзистенциалов угадывается некий сокровенный инвариант. Швейцарский богослов Лафатер в письме к русскому писателю Карамзину высказал мысль, что деятельность человека имеет целью усилить его бытие. Для выражения сей малопонятной мысли Лафатер прибегнул к тяжеловесному обороту немецкой речи: *am kraftigsten existieren* (*сильнее существовать*). Трудно сказать, как Карамзин мог переложить эту методическую установку на русскую натуру...

В античной философии для самоутверждения сущности было разработано особое понятие – *conatus*. В переводе с латыни – усилие. Усилие, целью которого является стремление *быть как можно больше*. Именно так: не дольше, не лучше, а – больше. Что это значит, каждый решает для себя сам. Нам не дано знать, что является конечной причиной того, что мы есть, – но вряд ли это счастье. Можно предположить, что в пределе совпадения сущности с существованием разумное существо достигает идеального состояния. Так ли это на самом деле, никому проверить не удалось. Но, как показывает история повседневности, внутренняя сосредоточенность более

надежная опора личности, чем внешняя успешность.

Идея экзистенциального минимализма настолько не нова, что истоки ее, вероятно, лежат в самом начале разумного существования. В библейской традиции в основу житейской мудрости полагалось умение довольствоваться немногим. В буддистской аскетике отрешение от лишнего стремится к пределу – самоотречению. Античная философия в поисках идеала благоразумной жизни выработала понятия автаркии (свободы от вещей), апатии (свободы от желаний) и атараксии (свободы от страстей). Не будем все вспоминать Диогена, который, переходя через агору, поражался, как много на рынке вещей, которые ему даром не нужны; Диоген экстремал, и нам не пример. Но ведь и Гораций, классик *per se*, идеал жизни усматривал в целесообразности:

*Хорошо тому, кто богат немногим,  
У кого блестит на столе солонка  
Отчая одна, но ни страх, ни страсти  
Сна не тревожат.  
Будь доволен тем, что в руках имеешь,  
Ни на что не льстись и улыбкой мудрой  
Умеряй беду. Ведь не может счастье  
Быть совершенным...*

Очень точное умозаключение: стремление к совершенству, усердие в поисках того, чего нет, влечет нас по жизни от хорошего к лучшему... и в итоге оставляет ни с чем. Отсюда вывод: не тот блажен, кто стяжает еще и еще, а тот, кто богат немногим.

Блаженным исповедником экзистенциального минимализма был Франциск Ассизский: *Мне мало надо, и из этого малого мне нужно очень немного*. Нам, людям заурядным, малость не в радость, – но, желая иметь больше, важно знать меру. Модус блаженства – желание, но не вожделение; становление, но не стяжание.

Все хотят, чтобы стало лучше. Но всем лучше будет тогда, когда каждый усвоит одну простую вещь: залог благоденствия не избыток, а достаток. Хорошего много не бывает. Много его и не надо. Тот, кто владеет многим, не властен в себе.



Эскалация потребностей губительна для общества и мучительна для личности.

Сознавая собственное несовершенство, я отношусь с пониманием к погрешностям в характере ближнего своего. Но связи между людьми имеют предел натяжения, его не преjdeши; при нарушении нравственного режима происходит разрыв этического континуума. Ближних, зашедших слишком далеко, приходится исключать из круга общения. Как назидал Омар Хайям: *Ты лучше голодай, чем что попало есть, // И лучше будь один, чем вместе с кем попало.* Ибо выскательность в связях тоже входит в понятие экзистенциального минимализма. Вот почему люди, требовательные к себе, с годами становятся нелюдимами. Будучи не в ладу с окружающей средой, они уходят в себя – по пути, указанному блаженным Августином: *не иди вовне, иди внутрь; и когда ты внутри обретишь себя ограниченным, перешагни через самого себя.*

Однако найти выход из тупика, перешагнув через себя, удастся не каждому. Это – иго, свергнуть которое трудно. Моралист Шамфор утверждает эту трудность как исходную данность: *Счастье – вещь нелегкая; его очень трудно найти внутри себя и невозможно найти где-нибудь в другом месте.* Как бы кто не был богат, никто не может иметь радости сверх того, что вмещает его сердце. Так что не стоит тратить время на то, что занимает дни нашей жизни лишними хлопотами. Чем раньше поймешь, от чего можно и нужно отказаться, тем больше останется места для того, что поистине дорого.

Экзистенциальный минимализм не означает строгого жизненного режима. Отнюдь. Когда человек по осознанной необходимости, то есть свободно, устанавливает границы своего места в жизни; это ограничение суть удовольствие особого рода. Когда избавляешься от лишнего, повышается ценность оставшегося. Современность, сосредоточенная на производстве и потреблении, не поддерживает такой образ мыслей. Однако не стоит всецело доверяться современности. В другие времена мудрость находила другие решения жизненной задачи, и многие из них, если судить беспристрастно, возможно, были ближе к истине.

Пожалуй, наиболее полно принцип экзистенциального минимализма выразился в дзэн-буддизме. Понятие *дхьяна* (по-китайски *чань*, по-японски *дзэн*) означает созерцание, смыслом которого является просветление (*сатори*): интуитивное постижение таинственного соотношения сущности и существования. Если в этом учении религиозный смысл оставить адептам, в безвозмездное пользование профанам останется экзистенциальный опыт.

Философ Судзуки, объясняя смысл учения, сказал так: *Дзэн не транс и не экстаз; дзэн – сосредоточенность в обычной жизни.* И в подтверждение тезиса привел слова одного из древних патриархов Юнь-мэня: *Сидишь – и седи себе; идешь – и иди себе. Главное, не суетись попусту.* То же самое мироощущение передает хокку дзэнского монаха Хокудзэ, нашедшего пристанище в горной хижине:

*Как чудесно это,  
как таинственно:  
я колю дрова, я ношу воду!*

В моей городской квартире центральное отопление и регулярное водоснабжение. Так что мне не приходится колоть дрова и носить воду. В моем доме много чего такого, что в прежние времена пригреться не могло. Газовая плита и стиральная машина. Телевизор, телефон. Компьютер, на котором я сейчас набираю эти строки. В нашей жизни стало больше жизненного комфорта, который мы принимаем как положенный порядок вещей. В общем и целом мы стали зажиточнее. Но стали ли мы счастливее?

У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Общий знаменатель современности – тревожность. Нам дано много, но надо еще больше. Налог на обладание данным – опасение потерять то, что дано. Рассудок напряженно сводит баланс желаний и возможностей, а под сердцем гнездится страх отстать в гонке потребностей: чем больше мы имеем, тем сильнее чувство, что чего-то не хватает.

Я такой же, как все. И моя добрая воля мобилизована злобой дня. В текущей повседневности я по социальной инерции занимаю разум

и заполняю сердце не тем, что хорошо, а тем, что плохо. В поисках надлежащей действительности я теряю из виду непосредственную очевидность. Настраивая критический разум на философский лад, страдаю от экзистенциальной недостаточности. Но иногда, отрешившись от тщеты и сосредоточившись в себе, в глубине души я обнаруживаю зону покоя. В центральном пункте самопознания возникает опережающее переживание настоящего момента.

Когда я живу осознанно, я живу здесь и сейчас – в исчезающе малом зазоре между прежде и после. В этой экзистенциальной позиции, к которой сводится фактичность нашего существования, находит воплощение сущностное свойство бытия – о д н о к р а т н о с т ь. Не ищи другого случая, чтобы сбыться, – его не будет. Имея возможность быть собой, тратить себя на что-либо иное – преступная халатность, имеющая следствием невосполнимые потери времени.

Жизненная ситуация з д е с ь и с е й ч а с – экзистенциальный минимум, в котором нераздельно и неслиянно содержатся вся полнота бытия и пустота свободы. И если в настоящем моменте нет счастья, его нет нигде.

Отказавшись от поисков того, чего нет, я заново осознаю то, что имею. И, словно свет из тьмы, из решимости жить здесь и сейчас, не тревожась о том, что может быть со мной дальше, из разоблаченной озабоченности возникает чувство беспричинной радости. Пусть на свете нет того, что считается счастьем, – разве не счастье, что я есть...

Последнюю мысль мне не удастся продумать вполне: звонит телефон. После необязательного разговора я уже не могу восстановиться в той экзистенциальной ясности, которой на одно мгновение достиг в освобожденном от суеты сознании. Но я знаю, что это состояние возможно. И знаю, как оно достигается. Когда-нибудь, исполнившись покоя, я по своей воле приду в него навсегда. Что бы это ни значило.

В гербе Орловской области – книга. Символ выражает топоним исторического региона с центром в Орле; все патриоты, особенно облеченные полномочиями, гордятся великими земляками, составившими славу литературного края. И это правильно. Однако... Книга в гербе обязывает хранить верность слову, а в наши дни в “литературной столице России” реальный уровень актуальной культуры находится ниже прожиточного минимума. Достаточно сказать, что в первое десятилетие нового века сошло на нет поколение, долгие годы представлявшее Орловский край в современной литературе, – а культурная среда вроде как не почувствовала утраты.

Орловские филологи, всецело занятые изучением классического наследия, не сочли достойным интереса то, что творилось у них на глазах. Никто из литературоведов не увидел очевидного – особого периода в хронике региональной литературы, чьим содержанием стало переживание перехода от советской действительности к новой исторической реальности. Страдательным залогом переходного времени стала плеяда орловских литераторов, пришедших в литературу в шестидесятые годы прошлого века и ушедших из жизни в начале нынешнего. Каждый из тех, о ком речь, шел по жизни своим путем, – но горизонт событий был общим.

*ИВАН РЫЖОВ (1936-2006)*

Он был самым авторитетным среди местных литераторов, потому что был самым зрелым автором из своих сверстников. Его личное дело может показаться образцовым примером жизни советского человека. Детство в деревне, работа на заводе, служба во флоте, учеба в институте, карьера в газете, место в номенклатуре. Все так, но все не о том. Главное в другом: Иван Рыжов был настоящим писателем, и все, что с ним было и чего не было, творчески переосмыслено в его прозе. Если говорить о влияниях, в его литературной технике обнаруживается схождение художественных тенденций: в своих учителях Рыжов числил Бунина – и Набокова, в своих

современниках Казакова – и Довлатова. Это не эклектика, а диалектика. Вершина стиля – предельно напряженная фраза кратких рассказов; удельный вес каждого слова повышен до метафизической тяжести. Вот автопортрет на фоне пейзажа, данный в одном из кратких рассказов, озаглавленном – короче некуда – «Я»: *Даль, синева, бутылочно-зеленая речка, вековая блаженная тишь, кроткое, умиротворенное поле, стойкий лай деревенских собак – и я.* Кажется, что весь смысл его творчества, синтез пафоса и скепсиса, вмещает сочиненная им молитва, завершающая это стихотворение в прозе: *Господи, продли все это: речку, птиц и меня в этой горькой и прекрасной жизни...* В лирическую хронику повседневности встраиваются сны о России – *Какая-то далекая глухая деревня. Старые деревянные засохшие дома. Рядом узкий длинный пруд, весь в изумрудной ряске. Великая тишь, благодать... Возле крайней избы растут, высятся три березы, и на одной из них грач, тугой, резиновый, орет, что-то пророчит. Угадать бы... И дали, дали, светлые, туманные, голубые, разные...* Может быть, ему снился уголок рая, который Бог приберег для него: место, где есть все, что надо, чтобы душа, верная родному слову, не тосковала по родине.

#### НИКОЛАЙ ПЕРОВСКИЙ (1934-2007)

Поэт по сути, поэт по стати; его поэзия обусловлена жизнью, а жизнь оправдана поэзией. В нашей логоцентричной стране стихи могли писать многие, но он был одним из немногих, кто не мог не писать. Его биография коренится в трагических обстоятельствах места и времени: начинается с несчастья и лишения, и продолжается страданием и скитанием. Опыт тяжелых лет станет надежным фундаментом сильного характера. Кто знал его, осознавал его особость; странное сочетание отстраненности и сосредоточенности выделяло его среди других (и отделяло от них). Если кто считал его поэтическую позицию нарочитой, он не находил нужным доказывать себя. *Игра – в природе человека, / тасует страсти шар земной, / но я в течение полувека / был верен музе, ей одной.* Пусть нас не смущает кажущееся легкомыслие

этой тирады: оборотная сторона игры словами – бессрочная каторга: тяжелая работа в руднике языка. Образ поэта – мерцающая точка света во тьме: стихотворец (творец!) мучается бессонницей и курит на балконе сигарету за сигаретой, потому что для завершения сонета не достает одной точной строки... Казалось, что незримым стержнем его поэтической природы была натянутая струна, резонирующая с мировой вибрацией – неясным шумом времени, в котором сокрыта предустановленная гармония. Предназначение поэта – высказать метафорически нечто, что не может быть сказано иначе. Если это есть, остальное неважно. Бывало, что соблазн остального сбивал внутренние ориентиры, но – ненадолго; вот как в стихотворении, написанном на рубеже веков, Перовский перезагружает жизненную установку: *Тогда я отбросил внезапную блажь, / и в шкуру мою затрапезную / вернулись сомнения, срывы, кураж, / полет и паренье над бездною...* Переживая акт творчества как момент истины, Перовский свидетельствует, что время свершается в человеке, а человек сбывается во времени.

#### ИВАН АЛЕКСАНДРОВ (1932-2010)

С поверхностного взгляда и по ординарному разговору в нем было трудно распознать поэта, каковым он был на самом деле, – потому что ему, человеку заведомо земному, претила всякая патетика. Он был, скорее, похож на учителя, – кем он тоже был, как в прямом, так и в переносном смысле. С первых своих книг Иван Александров вошел в обойму лучших поэтов традиционного направления; сказать при этом, что он вышел из народа – сказать неправду: он никуда из народа не выходил. Почетный гражданин города Мценска, он словно стеснялся заслуженной чести, оставаясь своим для каждого читающего горожанина и для каждого знакомого мужика. Но при всем прямодушии был он ох как не прост! – несговорчивый и неуживчивый, язвительный и уязвимый, упорный до упрямства. И требовательный до придирчивости – прежде всего к себе. Как в жизни, так и в поэзии. Он мог быть сентиментален, он мог быть желчен, но все, что он делал, делал под



личную ответственность. Мне было доверено (им самим) редактировать его последнюю книгу, так что я знаю, о чем говорю. Порой мне хотелось сгладить неровности его речи и спрямить ход его мысли, но в споре с автором я обнаруживал, что эти отклонения были не отвращениями, а откровениями: – *Не спрямляйте реки, человеки! / Кривизна – от Бога – хороша. / Даже в идеальном человеке / Дьявольски извилиста душа!* Уроженец СССР, он до последних дней оставался русским интеллигентом советской выделки – атеистом, хранящим в себе образ божий. Чему свидетельство – его стихи.

#### ВАДИМ ЕРЕМИН (1941-2009)

Из всех поэтов этой плеяды Вадим Еремин был наиболее литературен. Это не критическое замечание, а характерологическое. В искусстве стихосложения для него была первична поэтика, а не семантика, – в его стихах довлеет не фабула, а метафора. Это значит, что ради выразительности образа он мог пожертвовать связностью текста, и оттого его стихи порой казались герметичными. С критиками (включая меня) он не спорил; к непониманию притерпелся. По жизни Вадим Еремин, кандидат технических наук, специалист по эргономике, был собран и сдержан. Напряженный как лук и нацеленный как стрела, он иногда срывался, иногда промахивался – но не отступался от своего. *Есть жизнь вторая или третья, / В которой мается поэт. / Ее глухие междометья / Не задевают белый свет. / Ее приливы и отливы / Тайком нисходят на чело. / Над этой жизнью плачут ивы. / Все остальное – ремесло.* За вычетом остального, поэзии в его стихах хватит с лихвой на место в хрестоматии.

#### ВЛАДИМИР ПЕРЕВЕРЗЕВ (1947-2009)

Пожалуй, Владимир Переверзев как никто другой воплотил в себе скрытую катастрофичность перехода от советской действительности к российской реальности. Болезненно пережив отказ интеллигенции от идеалов оттепели, он мучительно прививал к своей вольнолюбивой натуре правила церковного послушания, – но в сфере

разума возникал когнитивный диссонанс. Если в поэтике Владимир Переверзев был искренне привержен к традиции всеотзывчивости, в публицистике, зараженной пристрастностью, приверженность переходила в предубежденность. Дар божий уступал власть над словом злобе дня. Что огорчало и омрачало в первую очередь его самого. Душа болела; лекарство, которым на Руси исстари лечатся от тоски, хуже болезни. Встречаясь, мы всегда спорили до раздора, – но никогда до разрыва. Когда он говорил о Боге, глаза его туманились от любви и боли – как у собаки, которая хочет во что бы то ни стало найти оправдание хозяину, который топит ее в реке времени. Так сказать, теодицея по Тургеневу. При виде всего, что творилось дома, он отчаивался в своих стихах и чаял спасти Россию молитвой оптинских старцев. Спасти от самой себя. *Но если смотреть, не мигая, / Сквозь эту свинцовую мглу, / Почудится, верно, другая / Россия на том берегу... // На ней драгоценный кокошник, / И русые косы у ней, – / У той, что не топит, не крошит, / Не душит своих сыновей.* Другая Россия, что все еще в нетях, плачет над этими стихами.

#### ВИКТОР ДРОННИКОВ (1940-2008)

Он был самым заметным среди орловских поэтов оттепельного призыва. Но не самым значимым, – как ему хотелось думать о себе. Виктор Дронников подавал большие надежды – и заявлял большие претензии; и то, и другое сбылось лишь отчасти. Беда в том, что в его творческой личности изначально был некий изъян: ему мало было первенствовать, – ему надо было доминировать. И потому значительную часть жизненной энергии он расходовал не на самовыражение, а на самоутверждение. Я не любил его, и пользовался взаимностью; он не прощал мне, что я не признавал его превосходства. По мере того, как Дронников утверждался в статусе поэта-лауреата нашего литературного края, он утрачивал расположение муз. И вот ведь парадокс какой: довлея, он чувствовал себя обделенным – сродни герою своего стихотворения: *Он сам в себе / Носил свою удачу, / Свою / Неистребимую тоску. /.../ Он молод был, / И по ночам все чаще / Хотелось*

*вить, / Купая след в крови... / Хотелось волку / Волчьего, но счастья, / Хотелось волку / Волчьей, но любви...* Дронников получил то, что хотел, – за счет потери того, что имел. Его звездный час – час между волком и собакой. Иначе говоря – смутное время, когда смятенному уму мерещится всякая чертовщина, и пустой испуг можно принять за страх божий. Его поздние стихи риторичны и вторичны. Лишь предсмертное страдание вернуло ему дар слова – и место в первом ряду.

В творчестве орловских литераторов переходного времени суровая реальность отражалась фрагментарно и превратно – как в осколках разбитого волшебного зеркала. Контуры минувшего обретали черты грядущего, а очевидное исчезало, утрачивая значение. Параметры литературного творчества потерялись в раздвинувшемся до бесконечности информационном пространстве; остались только внутренние критерии, да и те перестали быть непреложными. Литераторы, сбитые с толку и сбившиеся с курса, сначала расстроились в себе, потом рассорились между собой. Пути поэтов разошлись – и поэты растерялись в мире, где им не стало места.

Иван Рыжов на страницах дневника подводит безрадостный итог: *И разбежались они по сучкам и по веточкам. Как горько и печально... Странная темнота – легкая, серая, липкая... И пошли мы: куда, зачем, откуда? Откуда – знаем, а вот куда и зачем – потерялись. Великая страна, великий*

*народ – и каждодневное издевательство. И вот эти дни нынешние, злые, сумрачные, смутные. Опять душа мается, не находит покоя. Куда деться? Тут – на улицах, в конторах, в магазинах – суженность, удушье, тьма...*

Деться некуда, кроме как в никуда. В последних текстах растерянного поколения все острее проявляются симптомы кризиса: поэтика распада и распад поэтики. Стихи или уходили от действительности, утрачивая содержательность, или заражались злобой дня, утрачивая художественность. Поэзия выдыхалась – и жизнь тоже. Следуя неизбежности, они ушли, один за другим, – и пустота от них заполнилась суетой.

Однако ничто из того, что было настоящим, не было напрасным. Все, сотворенное с умом и талантом, со временем возрастает в ценности. Как возрастает значение случившегося в истории родной литературы. Если глядеть в ретроспективу, в образах ушедших поэтов жизненный материал постепенно замещается художественным содержанием. И надо надеяться, что растерянное поколение поэтов переходной эпохи будет собрано воедино в анналах родной литературы.

Людам свойственно не дорожить тем, что есть, пока оно есть. Но давайте хотя бы в обратном ракурсе различать истинный порядок сущих вещей. Оценим по достоинству то, что было – теперь, когда его не стало. Я не о поэтах. И даже не о поэзии. Я о жизни, ускользающий смысл которой открывает поэзия.